

Соображения от Габриеле Ниссим
Новая категория: праведники против геноцида

Определение «праведник» в применении к тоталитарному режиму, виновному в преступлениях против человечества, может вызвать разнотолки. Этим словом можно назвать только человека безупречного поведения, всю свою жизнь отдавшего служению людям.

Александр Даниэль улыбнулся, когда его отца Юлия назвали праведником за моральное сопротивление, оказанное им на суде в СССР, где его принуждали признать себя виновным. «Отец боролся за свободу слова и за человеческое достоинство, но отнюдь не был святым», – решительно заявил он. Александр сознаёт, что Юлий Даниэль служил примером борьбы с ложью и угнетением в брежневской России и восстаёт против недооценки роли отца в диссидентском движении, но не считает, что Юлий Даниэль ставил целью своей жизни нравственное совершенствование.

Если вдуматься в некоторые расхожие понятия, можно понять причину его недоумения. Первый, кто приходит в голову, когда размышляешь о судьбе праведника, это страдалец за веру, положивший жизнь, вплоть до самопожертвования, за Господа, ради любви к ближнему. Характерный и недавний пример – Мать Тереза из Калькутты, посвятившая себя уходу за больными в самых захудалых уголках мира и ставшая благодаря средствам массовой информации почти недоступным идеалом альтруизма и безграничной доброты.

По словам Анатолия Разумова, неутомимого создателя Мемориала, «Левашовское кладбище», – именно это понятие утвердилось сегодня в России. «Для нас праведник это божий человек, стремившийся к целостной, чистой жизни и за это возведённый православной церковью в сан святого. Мы никогда не причисляли к праведникам диссидентов, ибо вряд ли тот, кто сопротивлялся, был без греха. Недаром рядом со словом «праведник» в русских словарях стоит помета «ирония»: при тоталитарном строе эта порода людей часто подвергалась осмеянию. Праведники боролись не путём политических акций, они противились злу только молитвой и праведной жизнью.» Вот почему некоторые русские участники конференции при слове «праведник» улыбнулись: им было странно относить это определение к знаменитым противникам режима.

Второе представление, вызываемое образом праведника, это безупречная жизнь от начала до конца. Сократ согласился умереть, хотя не признавал себя виновным, дабы не противоречить приговору суда, поскольку был убеждён, подобно многим другим философам древней Греции, что принципы морали имеют вес, лишь если они подкреплены соответствующим образом жизни, порой даже самопожертвованием. Праведник это синоним полного совпадения слова и дела, жизни и деятельности, намерений и результатов, поэтому трудно согласиться с тем, что им может быть человек, познавший зло, и жизнь которого полна противоречий.

Третье понятие пришло к нам от тысячелетней традиции Ветхого Завета. В Библии Бог позволяет Аврааму спасти от уничтожения города Содом и Гоморру, юдоль преступлений и разврата, при условии, что он обнаружит там по меньшей мере десять праведников. От этого драматического диалога, который не приведёт к спасению Содома и Гоморры, к нам тянется актуальнейшая нить.

Прежде всего вывод: считать, что если у власти преступники, то виновен весь народ, и в любой самой отчаянной ситуации надо уметь отличать праведных от злодеев.

Второй вывод: прерогатива праведника – избавление общества от зла; а, стало быть, их назначение – призвать к ответу тех, кто утратил свою человеческую суть. Вот почему во всех, даже в самых ужасающих условиях мы можем сохранить надежду на изменение хода событий. Надо лишь обладать силой, которую Авраам так упорно вымалывал у Бога, всюду находить исключения.

Поэтому как нельзя лучше тут подходит формула из «Книги притчей Соломоновых»: на праведниках весь мир держится. Праведник это столп, на нём и на его праведной жизни зиждутся тяготы всего человечества. Он стимул новой жизни в самые беспросветные времена. Он исключение, которое способно сотворить чудо возрождения. Но, как догадался Авраам, действия праведника достигают цели, если находится кто-то, у кого хватает мудрости распознать их. Короче, нужны чьи-то глаза, чтобы действия не пропали даром.

Заметим, что в экстремальных ситуациях (во время войны, конфронтации, сведения счетов) праведник это не только тот, кто ведёт себя иначе, но и тот, кто с противной стороны способен услышать доброе.

Менее ясно, каковы отличительные черты праведника согласно Библии. Праведник это тот, кто посвящает себя молитве и выполняет религиозные заповеди? Тот, кто старается жить, строго придерживаясь моральных устоев? Тот, кто борется за торжество справедливости в мире? Или тот, кто руководствуется любовью к ближнему, кто видит в ближнем, по совету Левинаса, что надо делать, и приемлет закон ближнего как свой?

Законом 1953 года в Израиле был учреждён Долг национальной памяти жертв нацистских преследований. Термин «праведник» получил новое, совершенно непредвиденное значение, как, впрочем, вся судьба еврейского мира во время второй мировой войны.

Преобразование слова проистекало из потрясающей констатации того факта, что мир обошёл уничтожение евреев молчанием, никак не отреагировал, лишь немногие проявили гуманность.

Праведниками оказались те немногочисленные не евреи, кто воспротивились геноциду и попытались спасти жизнь евреев ценой собственной. Следовательно, определение «праведник» предполагало этический вывод индивидуума в противовес преступлению против человечества, совершаемого государством. Как правило, этого поступка было мало, чтобы изменить ход истории и остановить геноцид, но он стал как бы залогом того, что оказать помощь отдельным преследуемым евреям возможно в пределах отдельно взятых человеческих возможностей.

Тот, кто, например, спрятал еврея у себя дома, не только затормозил осуществление расового закона, машину уничтожения, он доказал, что кое-чего личным поступком можно добиться.

Тот, кто, напротив, предпочёл не рисковать, потом зачастую оправдывался тем, что, дескать, всё равно сделать что-либо для всех невозможно, де, я всей душой за то, чтобы преследованиям был положен конец, но это было не в моих силах, и я ничего не сделал. Невозможность повлиять на ход крупных событий становилось оправданием собственного бездействия.

Новшество нравственного урока памяти праведников состоит именно в разоблачении этого заблуждения; там, где политика терпит поражение, государственные органы узаконили преступление против человечества, международные организации и вообще общественное мнение остались глухи к страданиям жертв, у отдельных людей всегда остаётся личное пространство (неважно,

какого масштаба), чтобы возвести хоть малую преграду Злу.

Такова была посылка философии Ханы Арендт, сформулированная ею после шока, полученного во время суда над Адольфом Эйхманом, проходившего в Иерусалиме в 1961 году.

Каким образом может человек найти в себе силы действовать в одиночку, когда всё общество уверовало в нравственную ценность геноцида? Этот вопрос натолкнул её на написание «Жизни разума». Арендт изыскивала возможность одиночного сопротивления человека в чрезвычайных обстоятельствах.

Праведники поразительным образом доказали, что есть люди, способные воспротивиться духу своего времени, действовать в одиночку, в радиусе своих возможностей «спасать мир». Память о них для послевоенных поколений стала эстафетой огромной личной ответственности. Ибо в мире всегда может снова возникнуть фундаменталистская идеология, способная вербовать сторонников и даже стать законом большого государства. Единственное, что можно этому противопоставить, это индивидуальное сопротивление. В подобных ситуациях на человека может лечь совершенно непредвиденная и ответственная задача: в опасном одиночестве защищать цивилизацию человечества. В момент, когда индивидуум перестаёт воспринимать другое человеческое существо как неотъемлемую часть самого себя и равнодушно взирает на его уничтожение, а то и полагает это уничтожение необходимым для своего благополучия, в этот момент человеческой цивилизации наступает конец.

Отсюда ясно, что праведник это не только образец высокой нравственности, указанный нам Ветхим Заветом и Евангелием или, в своём очерке, Александром Даниэлем, но тот, кто не отказывается быть человеком и по какой-то неуловимой причине не желает отторгнуть засевшее в нём глубоко внутри чувство жалости к другому человеку.

Прения в Иерусалимской комиссии Яд Вашем, первом международном органе, взявшем на себя заботу определить, выработать понятие праведника, шли по двум линиям. Следует ли называть праведником того, кто вёл себя героически, доказал, что никогда не был заражен Злом, спасал человеческие жизни без каких-либо корыстных интересов? Или мыслить более широко, во главу угла ставить значение поступка, невзирая на все человеческие слабости героя-спасителя?

Для многих – таких, например, как член Верховного Суда Израиля Моше Ландау, праведник это рыцарь без страха и упрека. В таком случае можно ли почитать такого человека, как Оскар Шиндлер, примкнувшего к нацизму и нажившегося на бесплатном труде евреев? Ландау не отрицал важности поступка Шиндлера, спасшего своих рабочих, но полагал, что в будущем надо отдавать предпочтение людям, помогавшим евреям исходя из высокоморальных соображений и образцово себя проявившим от начала до конца.

Другой член Верховного Суда Моше Бейский всеми силами воспротивился такой постановке вопроса; он понимал, что политический план истребления людей вынуждает нас радикально пересмотреть нашу шкалу ценностей. Неважно, как в целом вёл себя человек, какова его репутация; надо обращать внимание на то, как он относится к ценности человеческой жизни. Достойн высокой оценки всякий, кто вступился за человека, будь то проходимец, неверный муж, вор, проститутка или заядлый нацист. Бейский считал ошибкой претендовать на то, чтобы спаситель обладал нравственным совершенством, самоотверженностью, проявлял героизм, был бы полностью непричастен к нацизму. Праведник, если придерживаться этого гибкого определения, это человек, которому ничего человеческого не чуждо, но шедший на немалый риск.

Эта вторая точка зрения официально сформулирована не была и, на первый взгляд, противоречит самому духу Комиссии.

Многие задавались вопросом, не будет ли чествование праведников способствовать забвению того факта, что международные организации молчали об уничтожении евреев. Это опасение особенно остро испытывали выжившие мученики лагерей смерти, обеспокоенные тем, что за разговорами о праведниках будет быстро забыто равнодушие мира к Шоа (Холокост). Если бы вопрос о праведниках не был поставлен с соблюдением чувства меры, единичные случаи добра свели бы на нет море равнодушия: еврейство по сей день не пережило травмы – устранение демократических стран, примером которого являются бесплодные встречи эмиссара польского сопротивления Яна Карского с английским министром иностранных дел Антони Иденом и с президентом США Рузвельтом.

Об этом писал недавно Аммон Рубинштейн, один из самых известных комментаторов газеты «Хаарец», напомнивший о провале

конференции в Эвиане в июне 1938 года, вскоре после аннексии Австрии Германией, конференции, созванной для обсуждения положения еврейских беженцев. Все страны, за исключением Доминиканской республики, заявили, что не разрешат въезд еврейским беженцам. Представитель Австрии заявил, что в его стране антисемитизма нет и что он не желает открывать двери беженцам, дабы его не импортировать.

Резолюция конференции отражала обстановку, в которой она проходила. В ней говорилось, что «невольная эмиграция такого большого количества людей углубит социальные и религиозные противоречия, вызовет напряжённость в мире и подорвёт процесс ослабления международной напряжённости». Иначе говоря, чтобы ослабить напряжённость в отношениях с Гитлером и избежать роста антисемитизма в демократических странах, евреев бросили на произвол судьбы, когда ещё была возможность их спасти.

Вопрос, поднятый Рубинштейном, представляет большой интерес. Евреи не нашли ни одного международного организма, который занял бы чёткую и ясную позицию против нацистского геноцида. Если в гражданском обществе выискивались праведники, то в руководстве демократических стран и в международных центрах, таких как Церковь, Лига Наций и даже Красный Крест, они полностью отсутствовали.

Это больше всего задело тех, кто в лагерях выжил.

Опыт Шоа показывает, что бороться со Злом необходимо на двух уровнях: личном, побуждающем реагировать каждого человека перед лицом политики, ставящей под вопрос принцип священности человеческой жизни, и на уровне международных организаций, наделённых реальной властью (в отличие от Организации Объединённых Наций, в большинстве случаев оказывающейся бессильной), к которым жертвы преследований и люди, наделённые обострённой совестью, могли бы апеллировать в смутное время, переживаемое нашей планетой.

Нельзя уклониться от этого нового типа ответственности в глобальном мире третьего тысячелетия, где телевидение и развитие информационных средств больше никому не дают права ссылаться на неосведомлённость об очередном побоище. Поразительное развитие средств коммуникации помогло нам понять великий смысл предвидения Эммануила Канта, изложенное в его труде «Мысли о всеобщей истории с космополитической точки зрения», где он

отмечает, что мир, в котором мы живём, это шар, «сфера». Наблюдение на первый взгляд банальное, но немецкий философ сделал из него далеко идущие выводы.

Во-первых, поскольку мы живём на этом шаре и передвигаемся по его поверхности, другого места у нас нет, следовательно, нам суждено всегда жить сообществом. Бежать некуда и мы испытываем на себе последствия того, что происходит со всеми другими людьми.

Во-вторых, как заметил социолог Зигмунт Бауман, природа, начертав пределы всеобщей истории, побуждает нас рассматривать мир как нечто единое, неделимое, где происходит «полное гражданское единение рода человеческого».

В-третьих, – это понял и Примо Леви, – мы, как никогда, отдаём себе отчёт в том, что ни одно человеческое существо ни в одном уголке мира не отделимо от нас, как остров, и что его судьба касается нас тоже. Таким образом понятие ответственности по отношению к ближнему расширяется за пределы ограниченного пространства, в котором мы живём.

Если вчера современник Шоа мог найти оправдание в том, что планы Гитлера ему были неизвестны, сегодня такое оправдание недействительно, так как доступ к информации повсеместен. Как говорит Бауман, каждый из нас может стать свидетелем нарушения прав человека – стоит включить телевизор. Когда нас спрашивают, почему же мы остаёмся пассивными, наш ответ звучит примерно так: «Да, я об этом слышал и пришёл в ужас, но что я мог поделать? Чтобы действовать, надо иметь чем».

Этот разрыв между знанием и возможностью действовать в мире, который на наших глазах всё больше и больше сливается воедино, ставит одну из величайших задач в борьбе за защиту человеческого достоинства. Видимо, её можно будет в какой-то мере решить, только укрепляя международные организации, способные осуществлять действенную гуманитарную помощь там, где совершаются преступления.

К сожалению, в настоящее время у стран – членов Организации Объединённых Наций нет одного нравственного и политического кодекса, который бы предусматривал общие действия против палачей, и нет желания оснастить себя средствами политического, военного и экономического нажима.

Пример тому – трудности, встающие на пути создания Международного Суда, призванного судить виновников

преступлений против человечества; созданию Международного Суда чинит препятствия не только американская администрация; многие страны с диктаторским режимом не согласны, чтобы их судил наднациональный суд. А ведь такого рода учреждение, если его поддержат деятели культуры и демократы всего мира, мог бы стать не только опорным пунктом борцов с геноцидами, он мог бы служить острасткой потенциальным палачам. Если всмотреться в поведение нацистских палачей и русских чекистов, бросается в глаза удивительное сходство. И те, и другие трубили направо и налево о своих планах истребления евреев и так называемых врагов народа и, в то же время, тщательно скрывали улики своих преступлений, словно опасались, что когда-нибудь придётся за них отвечать. Анатолий Разумов подчёркивает, что в годы сталинского террора газеты оглашали лишь немногие имена приговорённых к смертной казни, а данные о массовых расправах скрывали. Семьям бесследно пропавших отвечали, что их родные содержатся в лагерях без права переписки, о расстрелах не говорилось ни слова. И даже после смерти Сталина, в годы хрущёвской оттепели, правду скрывали и выдавали свидетельства о смерти, из которых следовало, что заключённый умер от болезни или естественной смертью.

Примо Леви тоже задавался вопросом, почему нацисты накануне прихода союзнических войск вдруг решили срочно демонтировать лагерь. Бюрократический шифрованный язык планов «окончательного решения еврейского вопроса» следует читать и в этом ключе: как результат опасения взрыва народного возмущения.

Такая противоречивая позиция палачей, продиктованная опасением скандала, загоняемым вглубь стыдом и страхом наказания, даёт возможность представить себе, какое эффективное действие мог бы оказывать постоянный международный суд: боязнь наказания заставила бы многих удержаться от преступлений.

Понадобится много времени, чтобы на мировой арене появились поистине эффективные политические средства для предотвращения преступлений против человечества; пусть медленная и трудная, но упорная работа по их созданию в Европейском сообществе и Организации Объединённых Наций придаёт бы силы тем людям, что не намерены уклоняться от своей ответственности перед лицом величайшего Зла. По крайней мере не повторилось бы трагическое одиночество, в каком оказались жертвы Освенцима и Колымы, ни разу не услышавшие голоса в свою защиту

со стороны хотя бы одной международной организации.

Их отчаяние выразили в полной мере Леон Файнер и Менахем Киршенбаум, руководители БУНДа, еврейской рабочей партии, в варшавском гетто осознавшие, какая трагедия нависла над людьми при полном равнодушии всего мира. Они попросили эмиссара польского сопротивления Яна Карского направить еврейским лидерам в Европе следующее обращение:

«Вы спрашиваете, что я советую предпринять нашим лидерам. Скажите им, чтобы они явились во все важнейшие еврейские службы и агентства и сидели там до тех пор, пока не получат гарантий, что будут предприняты меры по спасению евреев. Пусть они не пьют, не едят, пусть умрут медленной смертью на виду у всего мира. Да, да, пусть умрут, это может разбудить совесть мира».

Но мир не пробудило даже самоубийство Шуля Цигельбойма, еврейского представителя в польском правительстве в изгнании в Лондоне, не сумевшего найти никакой организации, готовой ответить на призыв руководителей БУНДа; после уничтожения варшавского гетто Цигельбойм, в полном отчаянии, решил, что жить дальше бессмысленно.

Нет в мире жертвы преступления против человечества, не взывавшей о помощи международного содружества, чтобы остановить палачей и поддерживающие их государства. Но всякий раз в демократических странах находится кто-нибудь, кто возразит, что военная акция усложнит международную обстановку и что угнетённые народы должны освобождать себя сами.

Таково оправдание, выдвигаемое не только государствами, но зачастую и общественным мнением: они не хотят брать на себя ответственность за борьбу с совершающимся у них на глазах геноцидом, взваливать на себя бремя ответственности, чреватой человеческими жертвами. Это соображение, позволяющее международным организациям и общественному мнению делать вид, что они ничего не видят и не слышат, не особенно изменилось со времён Освенцима и Колымы.

Память о коммунизме

Существует ли реальная возможность того, что категория праведника распространится когда-нибудь также на людей, пытавшихся спасти человеческое достоинство при советском

тоталитаризме, войдёт ли в коллективное сознание, как это было с Оскаром Шиндлером и другими спасителями евреев?

Всё зависит от исхода борьбы за сохранение памяти о Гулаге и о преступлениях советского тоталитаризма.

До тех пор, пока имеет право гражданства идея, согласно которой советский социализм, несмотря на множество жертв, это неудавшаяся попытка найти альтернативу рыночной экономике, улучшить жизнь людей, вряд ли будет воздано должное тем, кто пытался сопротивляться варварству, имевшему место в Советском Союзе. Всё ещё циркулирует мысль, согласно которой в СССР был произведён великий эксперимент Добра, ставивший целью достижение справедливости и равенства на земле, что мешает посмотреть в борцах против этой идеи пример.

В шестидесятых годах Жан-Поль Сартр чётко сформулировал идею, проповедовавшуюся всей прогрессивистской культурой: Сартр рекомендовал замалчивать ужасы Гулага, дабы не приглушать надежду трудящихся на победу над капитализмом. Сейчас, к счастью, этот ход мыслей несколько менее популярен, но ещё не перевелись люди, придерживающиеся этой позиции, как если бы само слово Гулаг было опасной ловушкой для тех, кто ратует за права обездоленных.

Стоит упомянуть о нацистских лагерях, как срабатывает механизм возмущения; советские лагеря отнюдь не вызывают такой реакции, и полностью отсутствует понимание цели, с какой советские лагеря создавались.

Несмотря на появление небольшого количества работ по истории СССР, после крушения Берлинской стены идеологическая установка коммунистического тоталитаризма на «элиминацию» (истребление), то есть свободу решать, кого считать достойным жить, а кого нет, не стала общеизвестной. Коммунисты методами, недалёкими от нацистских, намеревались осуществить «творческое» разрушение старого и создание нового социального строя. Они возомнили себя садовниками, вообразили себе, что общество это большое поле, засоренное вредными и ненужными элементами, и пропололи его, как собственники полют сорную траву. Они не были нигилистами, их целью была не пустыня, а рождение необыкновенного цветущего сада; для этого надо было лишь удалить вредные растения и сушняк.

Мобилизованным для этого чекистам убийство и

бессмысленное насилие доставляло садистское удовольствие, смерть людей они считали животворной, ибо она должна была служить для счастья и раскрепощения рода человеческого.

Категория врага определялась не точными данными этнической или национальной принадлежности, как это было с евреями и армянами, а преходящими и меняющимися параметрами опасных социальных групп – параметрами то экономическими, то социальными, то политическими, то идеологическими. Понятие враг с каждым днём расширялось и укреплялось, – подчёркивает Сергей Ходорович, – потому что коммунисты стремились не только упрочить свою власть, но создать нового человека, отвечающего требованиям тоталитарного общества, которое они мечтали построить. Достойными жить в этом цветущем саду были бы лишь люди, освободившиеся от религиозных и национальных пережитков, от связей с внешним миром, от влияния упаднической западной культуры и от идеи частной собственности, люди, готовые слепо выполнять директивы партии и ради дела коммунизма пожертвовать семейными привязанностями, дружбой, любовью. Тот, кто не был готов отказаться не только от своего собственного лица, от своего культурного облика, но и от нормальных человеческих чувств, составляющих человеческое достоинство, – от чувства симпатии, жалости, от сочувствия, от стремления к правде, от отстаивания своей правоты, – автоматически входил в категорию вредных растений, подлежащих удобрению путём перевоспитания или уничтожению, «элиминации». Следователи требовали, чтобы заключённые доносили на сокамерников, чтобы родные арестованного становились доносчиками, заставляли жён разводиться, детей отрекаться от родителей, друзей предавать друг друга. При коммунизме homo sovieticus не совпадал с Homo, Человеком, и это ставило перед партией задачу вести перманентную революцию против всего общества.

Идея классовой борьбы, использовавшаяся властью для проведения очередной политической кампании, может ввести в заблуждение – навести на мысль, что это была борьба за социальное раскрепощение; в действительности то был политический трюк с целью создавать из ничего всё новые категории врагов.

Когда центральный комитет намечал очередной объект революционной борьбы, будь то дворянство, буржуазия, верующие, кулачество, уклонисты, представители национальных меньшинств,

евреи (именовавшиеся сионистами), тому, кто принадлежал к одной из этих вражеских категорий, податься было некуда.

Прекрасно описал это безвыходное положение Андрей Макин в поразительном рассказе «Музыка одной жизни». Молодой музыкант Андрей Берг, вина которого состоит только в том, что он выходец из интеллигентной семьи, неугодной режиму, после ареста родителей живёт под бдительным оком органов. Отец невесты доносит на него и вот, всеми силами стараясь избавиться от своего «я», он переодевается в форму убитого немецкого солдата. Перевоплотившись в другого человека, Алексей надеялся уйти от предначертанной ему судьбы. Несмотря на героизм, проявленный им под чужой личиной, на невероятные усилия жить под видом другого человека, большой самоконтроль, благодаря которому ему удавалось скрывать свои истинные чувства, он не смог сдержать своих эмоций. Отчаянно стараясь скрыть от любимой женщины свои чувства и, чтобы не вызывать подозрений, не говоря, что он музыкант, во время праздника, на котором была объявлена помолвка любимой с другим, Алексей не выдержал и отвёл душу за роялем. Он заплатил за свою слабость Гулагом. На деле это была не только неосторожность, а свидетельство того, что человек не может расстаться со своей душой. Рано или поздно власть разоблачала любую уловку.

Рассказ Макина – впечатляющая метафора несмыслимой вины, клейма, которое коммунизм накладывал на свои жертвы, подобно тому, как нацизм – на евреев; от этого клейма нельзя было избавиться.

Кто причислялся к категории врага, становился презренным, опасным, вредным для общества, человеком, переставшим существовать для родственников, друзей, товарищей по работе.

Лев Разгон, отбывший семнадцать лет в лагерях, говорит, что боязнь ареста не имела ничего общего с нормальным страхом человека, разыскиваемого полицией за грубое нарушение закона, или страхом перед судебным приговором. Куда хуже было обнаружить, что ты ни с того ни с сего отторгнут обществом, которое считает тебя недостойным быть его членом. Замолчавший телефон был сигналом этого отторжения: никто не хотел общаться с человеком, находившимся на примете у НКВД. Накануне ареста соседи по дому отворачиваются, не здороваются.

У властей была необычайная власть лишить тебя человеческого

достоинства, пресечь путь к тебе человеческой жалости. И намеченная жертва – пишет Разгон – вместо того, чтобы испытывать только злость, испытывал стыд, как если бы действительно в чём-то сильно провинился. «Я готов был сделать всё, что угодно, чтобы заглушить охватившие меня ненависть, отвращение и стыд... Ненависть была объяснима, отвращение – тоже, но откуда этот стыд... Говоря словами Достоевского, я превратился в дрожащую тварь».

Именно это чувство стыда, вызванное отторжением, делало намеченную жертву более податливой, под градом обвинений человек сдавался и признавал себя виновным в несуществующих преступлениях.

Напршивается параллель между одиночеством евреев во время расовых преследований в Германии, когда вчерашний друг – читаем у Арендт – отворачивался от друга, и одиночеством получивших клеймо врага от компартии Советского Союза.

При обоих режимах жертвы по политическим или идейным соображениям лишались принадлежности к роду человеческому, а однажды осуществив эту операцию, можно было подвергать их любому преследованию.

Когда нет преград, с человеческим существом можно делать всё, что угодно: душить в газовой камере, расстреливать сотнями тысяч по норме – столько-то на область, как было во время геноцида 1938 года, во время сталинского террора, истреблять население путём искусственно организованного голода, как на Украине, заключать миллионы людей в лагеря.

Маргарет Бубер-Нейманн считает, что основное различие между нацизмом и коммунизмом состояло в способе уничтожения людей, «вредных для общества». Если нацизм прибегал к искусственным методам – газовым камерам, то чекисты полагались на естественный отбор и делали ставку на худшие человеческие инстинкты, с тем, чтобы наиболее слабые умирали от холода и голода, от непосильного рабского труда, в беспощадной борьбе за выживание.

При нацизме промежуток между заключением и смертью в лагере был очень коротким; при советском тоталитаризме время пребывания в серой зоне обезчеловечения жертв, замечательно описанной Варламом Шаламовым, растягивалось на нескончаемые годы унижений и страданий. Поэтому «Колымские рассказы» пронизаны неизбывным пессимизмом. Одиссея заключённого,

который видит, как вокруг него в лагере гаснет надежда, будто перед смертью ему выпало присутствовать при невыносимо затянутом умирании человеческой цивилизации. Его одолевает жуткое сомнение: не лучше ли было умереть раньше, чем быть свидетелем тому, как в результате физических и духовных страданий происходит распад личности.

Именно фактор времени отличает произведения Шаламова и Примо Леви. По наблюдениям Леви, в серой зоне нацистского лагеря обесчеловечение личности происходит внезапно, конец наступает быстро; Леви передаёт нам это ощущение внезапности, с какой происходит метаморфоза всех ценностей. Шаламов же своими рассказами создаёт ощущение отчаяния, растянутого во времени, бесполезного, типичного для советской системы медленного, но неумолимого уничтожения человека.

Трудная память

Итак, что же может определить успех борьбы за память о Гулаге, подобной памяти о Шоа, которая – по крайней мере в Соединённых Штатах и в Европе – притормозила возврат к антисемитизму? Можно ли надеяться, что настанет день, когда учителя в школе будут рассказывать историю Колымы, как они рассказывают историю Освенцима, описывать чекистов, как описывают нацистских палачей, что школьники будут изучать Шаламова наряду с Примо Леви, что им расскажут не только об «окончательном решении еврейского вопроса», но и о том, как физически уничтожали людей в советских лагерях?

Прежде всего важно помнить, что подобно Холокосту и нацифашизму, коммунистический опыт протекал отнюдь не вне истории Европы, в одной стране, в России. Напротив, он трагически повлиял на жизнь всех восточно- и центрально-европейских стран, оказался притягательным не только для западных компартий, но и для обширных областей европейской культуры, поддавшихся миру бесклассового социалистического общества. Следовательно, изучение этого исторического явления и сохранение памяти о нём касается не только некоторых политических сил, оно должно стать постоянной заботой культурной жизни всей Европы.

Нацистские лагеря и лагеря коммунистические – две разные истории с разными истоками, но уничтожение «лишних» людей из политических соображений в том и в другом случае весьма сходно в

поведении его исполнителей и свидетелей, равно как и в страданиях жертв – много общего. Следовало бы сопоставить и сравнить их беспристрастно, чтобы они составили общую категорию. Смешно противопоставлять их друг другу из политических соображений, всякий раз взвешивая, что хуже. Некоторые даже считают, что сравнение Гулага с нацистскими лагерями может умалить вину нацистов и трагизм Холокоста, а также что упоминание Шоа мешает пониманию Гулага и памяти о нём. В Италии есть тенденция посвящать день отдельно памяти Шоа, памяти Гулага и «фойбам» (фойба – расщелина в карских горах, куда коммунисты Тито сбрасывали трупы итальянцев, не коммунистов; прим. переводчика). Такое расширение поля памяти, конечно, важно, ибо стимулирует размышления, до вчерашнего дня неведомые, но есть опасность противопоставления, которое помешает общему видению разных историй и выработке общей точки зрения на динамику Зла. Тот, кто всей душой отмечает один из этих дней, может сбиться с толка и счесть, что одна трагедия более достойна памяти, нежели две другие. В то время как теоретические и философские понятия, возникшие в связи с Шоа, такие как серая зона, банальность зла, обезчеловечение жертв, безразличие, личная ответственность при диктатуре, праведники, дают нам возможность не только глубже изучать геноциды, но установить, что «элиминационизм», истребление людей, во имя высшего порядка коснулся не только евреев, армян и советских заключённых, но в целом человека двадцатого века. Ради осознания этого Зла, подстерегающего людей, и следует вести борьбу за память. Надо бы учредить в Европе День, посвящённый общей памяти жертв нацистских и советских лагерей, а также всех геноцидов XX века, начиная с армянского. Общий день траура отражал бы желание народов, выросших в условиях демократии после второй мировой войны, признать Зло, совершённое в ходе истории, и дать зарок никогда больше не быть молчаливыми свидетелями бесчинств тоталитаризмов, в каком бы месте кантовской «сферы» они ни вершились.

Одним из величайших парадоксов, наблюдающихся в Европе после 1989 года, после крушения Берлинской стены, является утрата интереса к антитоталитарным идеям диссидентов коммунистической империи, открывших миру существование принудительного труда. В годы, предшествовавшие кризису мира, расколотого на два лагеря, годы «Солидарности», борьбы за права

человека в восточной Европе, годы Кароля Войтылы и твёрдой позиции Рональда Рейгана проявлялось гораздо больше желания распознать политическую механику, приведшую к Гулагу. Такой инакомыслящий как Вацлав Гавел, отстаивавший правду, ценность демократии, учивший не прибегать к понятию врага в политике, являл собой необычайный пример того, как человек должен себя вести, чтобы советское Зло не повторилось в истории.

Как заметил Алэн Финкелькраут, антитоталитаризм завещал нам мысль, согласно которой Зло в мире преодолевается не путём ликвидации классов, не путём разрушения существующего строя во имя государства, насаждающего справедливость на земле сверху; в действительности борьбе нет конца, ибо она происходит внутри каждого человека, способного принятием на себя ответственности хотя бы в малой мере повлиять на ход событий, при которых ему довелось жить и действовать. А кратчайшие пути в политике, избранные теми, кто позволил себе право решать, кто хорош, кто плох, привели к сооружению гулагов для недостойных.

Сегодня эта мысль снова в загоне, на неё ведётся нажим с двух сторон – со стороны исламских фундаменталистов и антиглобалистов, предлагающих идеологическое, манихейское видение мира, согласно которому Добро на земле достижимо лишь в результате разгрома американских угнетателей и борьбы с капиталистами. Они снова выступают в роли «угнетённых», глашатаев незапятнанного раскрепощения, независимо от того, как они сами себя ведут; им видится рождение авангарда, призванного представлять их интересы и возобновить борьбу против существующего строя, дабы окончательно искоренить причины человеческих страданий.

Когда пацифисты говорят о ближневосточном кризисе, они усматривают Зло только в Израиле, они никогда не задаются вопросом, какого рода общество имеют ввиду террористы, мерилом радости которых является количество жертв, павших от бомб смертников. Они не понимают, что фундаменталисты, которые призывают к борьбе с врагами – евреями и американцами, отрубая головы пленным перед телекамерами, отрицающая принадлежность этих людей к роду человеческому, снова ратуют за цветущий сад, очищенный от сорняков.

Чтобы завоевать общественное мнение память о Гулаге нуждается не только в историках, учёных, последователях, но в ещё одной категории людей, призванных выполнять необычную роль. Их можно назвать рассказчиками. Это те, кто после Шоа (но и после армянской резни) призваны не только сохранять в обществе память о случившемся (это самое лёгкое), но сообщать новым поколениям суть и объяснение этого горестного опыта, чтобы малейшее появление в обществе опасных симптомов сразу обнаружилось и вызвало отпор.

Лучшие рассказчики это те, кто глубже понял, что ответственность перед жертвами, ныне бессловесными (и это то, что побуждает рассказчиков рассказывать), выражается в принятии на себя ответственности перед живыми, перед миром, народившимся после катастрофы. У рассказчиков есть то преимущество, что они могут дать слово мёртвым, – не для того, чтобы повернуть мир вспять или требовать мести, а чтобы учить, как вести себя в наше время.

Поразительный пример Рассказчика – француз Давид Руссе; он был узником Бухенвальда и создал один из основополагающих трудов о нацистской системе концлагерей. 1 ноября 1950 года он со страниц «Фигаро Литтэрьер» обратился с призывом ко всем бывшим узникам немецких лагерей рассказать миру о системе советского Гулага. Он чувствовал себя лагерным специалистом и хотел предоставить свой «профессиональный» опыт в распоряжение всего мира, чтобы помочь людям понять, что происходило в СССР. Чувство ответственности, которым был движим Руссе, он объяснял на следующем примере. Попробуем представить себе, что бы мы испытывали на плацу в Бухенвальде, под лучами прожекторов, в снегопад, слушая оркестр в ожидании поверки, перед лицом верной смерти, если бы нам случайно стало известно, что кого-то из заключённых освободили и что они о своих собственных страданиях миру поведали, а о наших умолчали. Мы осудили бы их за то, что они о нас забыли, за то, что ничего не сделали для нашего спасения. То же, должно быть, чувствуют сегодня узники Гулага, видя, что уцелевших в годы нацизма не беспокоит их судьба, де, пусть умирают. Узники Гулага, наверное, думают, что наш опыт ничему нас не научил и что мы глухи к их страданиям. Вот почему мы уцелевшие, с печатью Освенцима на душе, ставшие специалистами по концлагерям, обязаны быть среди первых, кто разоблачает новые злодеяния. Давид Руссе понял, что память должна служить прежде

всего вот для чего: вспомнить значит совершить нравственный поступок, если это значит обнаружить новую форму, в какой Зло проявляется в настоящее время.

Кто же он, этот Рассказчик, повествующий о советском тоталитарном Зле, и Певец тех, кто пожертвовал жизнью ради спасения – в тех особых условиях – человеческого достоинства? Что касается Шоа, то борцами за память стали уцелевшие после лагерей евреи, еврейские общины диаспоры и государство Израиль. Не все они отвечали требованиям Руссе, занимаемых ими позиций множество. Взгляд на Шоа, как на явление совершенно уникальное, порой мешал сопоставлять его с другими геноцидами. Тем не менее многие свидетели, менее известные, чем Примо Леви, Моше Бейский, Эли Визель, люди заурядные, целая армия бывших узников концлагерей почувствовали потребность рассказывать везде и всюду, в книгах, в фильмах, в газетах, в университетах, ребятам, каждый в своей стране, истории, героями которых они невольно оказались: так впервые в мире возникла категория рассказчиков о геноциде.

Напротив, уцелевшие узники советских лагерей не так заметны, большого интереса к их рассказам не наблюдается, словно пережитое ими не так важно, как то, что испытали узники немецких концлагерей. Чем это объяснить? Почему не нашлось политической силы, которая дала бы им слово? В отличие от еврейского государства, предпринявшего настоящую битву за память! Можно спросить о том, как Израиль использовал Шоа для того, чтобы узаконить себя в глазах международного общественного мнения; факт таков, что наличие Израиля, особенно после суда над Эйхманом в 1960 году, придало силы и смелости Рассказчикам о Холокосте, своим упорством сломавшим круговую поруку пособников нацистской политики во всех странах.

Можно было ожидать, что после событий 1989 года Россия возьмёт на себя ту же роль, что взял Израиль, выступит в защиту жертв Гулага, за память о Гулаге. В то время, как Германия немало потрудились для того, чтобы взять на себя груз ответственности и ответить за истребление евреев, Советскому Союзу, казалось бы, было проще разобраться со Злом, поскольку оно было нанесено собственным гражданам, а не другим народам. Турции, например, это до сих пор не удалось по отношению к армянам.

Окружение Путина, как считает Арсений Рогинский, напротив,

сочло, что нанесёт себе ущерб, если предстанет перед миром с провинностями прошлого. Путинское окружение во что бы то ни стало хочет изобразить Россию как уважаемую страну, которой надо гордиться. Оно предпочло подчёркивать преемственность великой державы вместо того, чтобы предстать перед миром как страна жертв ГУЛАГа; а ведь память о ГУЛАГе – нравственная ценность для отечественной истории. Говорить на эту тему снова стало неудобно, потому что режим с авторитарными замашками не считает возможным ясно сказать, что террор ставил своей целью уничтожение свободы и самостоятельности личности, да ещё собственных граждан. Слишком большой акцент на памяти может вызвать нежелательные вопросы относительно сегодняшней власти, хотя между прошлым и настоящим – пропасть. Таким образом – подчёркивает один из активистов Мемориала – жертвами ГУЛАГа занимаются почти исключительно частные и местные организации, идущие зачастую против течения, лишённые какой-либо политической поддержки.

Учитывая всё это, Европа рано или поздно должна взять на себя новую роль; она не может приветствовать вступление в Европейское сообщество стран бывшего Советского блока и забыть о Колыме. У европейских лидеров стало обычаем, посещая Польшу, побывать в Освенциме или, будучи в Израиле, посетить Яд Вашем; точно так же должно было бы войти в привычку у каждого государственного деятеля, находясь в России, посещать места массовых расстрелов, советские лагеря, музей в Перми или кладбище в Левашове, Бутове, Коммунарке.

Не откликнулась на призыв особая категория Рассказчиков, как ни странно, после 1989 года она не подала голоса. Это не жертвы, это те, кто каждый на свой лад, питали большие иллюзии насчёт советского строя, отторгали всякую информацию о лагерях, а потом приветствовали конец тоталитаризма как освобождение. Все они предпочли «забыть прошлое и смотреть вперёд». Они предпочли промолчать, не захотели первыми защитить память о жертвах той части русской истории, в которую свято верили.

Немногие бывшие коммунисты, выполнившие этот нравственный долг, вызвали резкое осуждение, прежние товарищи обвинили их в предательстве. Некоторые из них, такие как Артур Кёстлер и Иньяцио Силоне, были в числе лучших рассказчиков о тоталитарной эпохе; они, как мало кто ещё, сумели рассказать о

самой сути трагедии, пережитой Россией.

Жак Росси, как подчёркивает Серджи Рапетти, посвятил жизнь написанию поразительного гугаговского учебника, напоминающего по обширности и документированности толстый том Рауля Хильберга о нацистских лагерях.

Праведники в Гулаге

Кто же при тоталитаризме был праведником, человеком, способным защитить человеческое достоинство, наподобие тех, кто спасал евреев во время «окончательного решения еврейского вопроса»?

Сергей Ходорович предлагает рассматривать отдельно двадцатые годы и годы после смерти Сталина, время хрущёвской оттепели и затем, в 60 годы, зарождения диссидентского движения.

В период ленинского и сталинского террора всякий, кто сопротивлялся насилию, действовал в полном одиночестве; в обществе, охваченном страхом, или среди политической элиты, проникнутой идеологией до мозга костей, трудно было рассчитывать на помощь и сочувствие. Слова Пушкина «на всех стихиях человек тиран, предатель или узник» как нельзя лучше отражали русскую жизнь.

Борьба со Злом была безнадежна, не встречала одобрения внутри страны и не могла рассчитывать на международную солидарность. Это была личная позиция человека, знавшего, что он бессилён изменить ход событий, но старавшегося хотя бы не причинить зла ближнему и сохранить человеческое достоинство. Есть примеры такого безнадежного индивидуального сопротивления. Поэт Осип Мандельштам весной 1933 года – как вспоминает Никита Струве – сделал то, чего не смог сделать никто ни до, ни после него. Он написал стихотворение, где прямо атаковал Сталина и его людоедство, в пору, когда самые знаменитые писатели славил Сталина как великого строителя Беломорканала (построенного руками тысяч заключённых). «Я готов к смерти», – сказал он Анне Ахматовой, – и закончил свои дни на сибирском Дальнем Востоке, на него донёс читатель из числа друзей.

Варлам Шаламов сидел в лагере на Колыме без всякой надежды на изменение судьбы, убеждённый, что палачам удалось убить в узниках человеческое достоинство. Он жил в этом проклятом месте и

не сдавался, как последний человек на земле. Незадолго до смерти он выразил в своём стихотворении удивление, что остался жив и победил. На его взгляд, мир не изменился и сам он не мог ничего сделать, чтобы его улучшить, но в этой человеческой пустыне сумел сохранить душу и остаться внутренне свободным.

Армянский писатель Мегердич Армен в рассказе о долгих годах заключения – как тонко подметил Пьетро Кучукян – описал контраст между человеческим сопротивлением заключённого и разложением, равнодушием внешнего мира. Заключённый Иван Агатов, чтобы не умереть от непосильного труда на лесоповале, мысленно разъезжал по своей Москве, мечтая в один прекрасный день начать жизнь снова. Но его надежды рухнули: он сделал чудовищное открытие; в вещем сне он увидел с порога своего дома, как жена изменяет ему с лагерным учётчиком; в отчаянии он лёг у входа в барак и замёрз. То была метафора хрупкости индивидуального сопротивления, а сопротивляться можно было только в одиночку, рядом все жили по лагерным законам; чтобы выжить, надо было рассчитывать только на свои силы, внешний мир был глух к страданиям, непроницаем. Если больше нет ни любви, ни сочувствия, зачем отстаивать собственное достоинство и не поддаваться соблазнам? И вообще стоит ли жить? Вот в чём трагический вопрос.

Кроме попытки воспрепятствовать распаду личности, в одиночестве, при полном отсутствии солидарности, была ещё одна форма личного сопротивления в годы сталинского террора: речь идёт о новом персонаже, не похожем на того, кто во время Шоа рисковал жизнью, чтобы спасти жизнь еврею; речь идёт о преследуемом, отказывающемся стать доносчиком и спасти свою жизнь ценой предательства друзей, родных, сослуживцев.

В Шоа добро всегда выражалось в виде помощи, почти всегда сопряжённой с большим риском, человеку, находившемуся в опасности; во время сталинского террора добро выражалось в отказе стать звеном в цепи Зла по отношению к другому. Отказ проявлялся в разных формах. Один отказывался донести на коллегу в ущерб своей карьере; жена не соглашалась на развод с мужем, попавшим в беду; сын отказывался отречься от отца, отправленного в Гулаг (так поступила Лючана Де Марки, с двенадцатилетнего возраста и до конца коммунизма гордившаяся, что она дочь своего отца).

Выбор всегда был несвободен, происходил под нажимом –

шантажом властей, с первой минуты предлагавшим обвиняемому облегчить доносом свою участь; близким и друзьям предлагалось отступить от него, если они не хотели разделить его судьбу.

Как в дантовом аду круги всё углублялись, шантаж палачей и борьба за жизнь делали отказ от Зла почти невозможным. Пытаться не повредить другому заключённому в большинстве случаев значило погубить себя.

Не все под пытками вели себя, как итальянец Эдмондо Пелузо, не выдавший тюремщикам своих товарищей, как рассказывает в своей прекрасной книге Диди Ньёкки. Большинство арестованных сознавались в несуществующих преступлениях и наговаривали на друзей, знакомых и на всех, кого хотели следователи.

Франческо Каталуччо вспоминает, что Густав Херлинг в своей книге «Особый мир» ставит в этой связи трудный вопрос: можно ли судить человека за его действия в бесчеловечных условиях, в Гулаге, под диким нажимом, соглашающегося на оговор ради сохранения собственной жизни? Польский писатель Херлинг принципиально против какого-либо осуждения, ибо «можно требовать, чтобы он вёл себя по-человечески только, если он находится в человеческих условиях» – в отличие от Ханы Арендт, весьма критически отзывавшейся о еврейских советах в гетто под председательством нацистов. Как и Примо Леви, Херлинг не хотел, чтобы за грехи палачей отвечали жертвы, находившиеся под угрозой физического воздействия, пыток и в условиях лагерного непосильного труда: лишь у немногих доставало физических сил (моральных было недостаточно) сопротивляться нажиму палачей.

Именно сверхчеловеческая трудность оставаться человеком повышала цену поступков и действий тех, кто был в состоянии не вступать в соперничество с другими в борьбе за выживание. Это и были праведники Гулага, те, кто по выражению Шаламова, выдержали самое трудное испытание, какое могло предстать человеку XX века. Как вести себя, когда тебя шантажирует палач или когда нависла угроза голода, им приходилось решать не раз, не десять раз, не сто раз, а поминутно, в течение всего бесконечного лагерного срока.

Шаламов с горечью заметил, что некоторые заключённые какое-то время ведут себя по-человечески, потом вдруг сдаются, рухнув перед очередным испытанием этого ада. Но главное было не безупречность, не последовательность, а, несмотря на все поражения,

человечность, которую заключённому удалось сохранить в себе – «сохранность души», как говорил автор «Колымских рассказов».

В шестидесятых годах – пишет Ходорович – формы репрессий изменились. Физическое уничтожение, типичное для сталинского террора, было заменено формами наказания и изъятия из общества в административном порядке, хотя Гулаг функционировал по-прежнему, а для «неисправимых» были приспособлены так называемые уголовные психиатрические лечебницы.

Коммунистическая власть породила то, что приметливый чешский диссидент, писатель Симечка, назвал «цивилизованным» насилием тоталитаризма. «Зараженных» увольняли с работы, их детям запрещали поступать в университет. Государство решало, кому предоставить социальные блага, а кого их лишить, в зависимости от того, соблюдал человек его правила игры или нет. Для того, кто не приспособивался и не покорялся, жизнь становилась невыносимой.

Но в обществе произошло изменение, хоть и не очень заметное: тот, кто сопротивлялся тоталитарному Злу, впервые встречал понимание и поддержку извне.

Это с большой проницательностью уловил Александр Солженицын, когда в 1972 году предназначил четверть своей Нобелевской премии и предвидевшиеся авторские права от «Архипелага Гулага» Фонду помощи семьям политических заключённых – отдал деньги, дарованные ему мировой славой, тем, кого преследовал режим. Он поручил это дело Александру Гинзбургу, который уже был известен своими выступлениями за свободу. На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, ещё будучи студентом, А. Гинзбург изобрёл самиздат: по его замыслу машинописные страницы, ходившие по рукам среди читателей, можно было объединять в небольшие сборники, создавая таким образом прибежище свободной мысли. Эта на первый взгляд простая идея немало обеспокоила политических руководителей. После выхода первых трёх номеров «Синтаксиса» Гинзбург был приговорён к двум годам лагеря, которые он отсидел в северных лагерях с уголовными преступниками. Во второй раз его посадили за сборник документов по делу Синявского – Даниэля, двух писателей, осуждённых за публикацию своих книг за границей. Гинзбург создал целую сеть добровольных помощников семьям заключённых; они возили продуктовые посылки и одежду в тюрьмы и в лагеря,

помогали бывшим заключённым вернуться к нормальной жизни.

Созданием «Фонда Солженицына» автор «Архипелага Гулага» положил начало новой форме сопротивления внутри советского тоталитаризма, поставил на повестку дня вопрос солидарности, которую коммунизм старался с корнем вырвать из человеческого сердца. Хана Арендт, рассматривая философскую проблему об отношении человека и Зла, приходит к выводу, что поступок личности в определённых ситуациях равнозначен первому акту творения и может предопределить новое рождение мира.

Россия пережила коренное изменение человеческих связей: Добро уже не было лишь воздержанием от Зла под угрозой власти, оно снова обрело положительный смысл; стала возможной помощь отверженному. После многих лет тьмы вернулась надежда, неведомая Шаламову в течение всех лет его жизни, надежда, питаемая, главным образом, присутствием человеческого тепла.

Были замечательные люди, пожертвовавшие жизнью ради других, как это было во время Шоа. Юрий Галансков, талантливейший молодой поэт, умер в ноябре 1972 года от язвы желудка в лагере строгого режима, куда он был сослан на 7 лет. Лина Туманова из «Фонда Солженицына», добрейшая душа, превратила свой московский дом в центр помощи заключённым; в 1984 году была арестована, в тюрьме заболела раком и через несколько месяцев, в 45 лет, скончалась. Самый вопиющий случай – вспоминает Сергей Ковалёв – это Анатолий Марченко, умерший 8 декабря 1986 года во время голодовки в лагере. Жертвуя собой, он надеялся побудить Запад выступить за освобождение политических заключённых в то время, как Горбачёв добивался международной поддержки перестройке.

Из краха коммунизма проистекает важный урок для борьбы с тоталитаризмом всех мастей и для предотвращения преступлений против человечества. До тех пор, пока мир был неспособен понять, какое Зло творится в СССР, и прислушаться к праведникам, которые Злу противились, советская власть могла преспокойно проводить политику «элиминационизма». Когда же хельсинские соглашения 1975 года подстегнули демократические страны оказывать конкретное давление на Москву, добиваться от неё соблюдения прав человека и, наконец, оказывать активную поддержку людям, выступавшим в защиту человеческого достоинства, советский режим

начал мало помалу распадаться.

По свидетельству Владимира Тольца, влияние праведников в советской империи необычайно расширилось благодаря передачам свободных радиостанций. Голос международной солидарности был вторым решающим фактором, возвращавшим диссидентам надежду. Ковалёв никогда не забудет радости, испытанной, вместе с другими заключёнными в лагере, когда он узнал об избрании президентом США Джимми Картера. Благодаря западным радиостанциям в России стало известно его заявление о том, что «краеугольным камнем новой американской политики являются права человека».

Так обрели актуальность слова Авраама по поводу разрушения Содома и Гоморры. Из горестного диалога с Богом Авраам понял, что для спасения мира от Зла, с одной стороны, должны найтись не поддающиеся Злу праведники, а с другой – кто-то, кто к ним прислушается и о них позаботится. Авраам искал их изо всех сил, но нашёл только одного, поэтому Содому и Гоморре не было спасения.

Когда демократические страны, наконец, нашли в себе силы прислушаться к праведникам России и помочь им, силы праведников преумножились и начался упадок советской империи. Это одна из причин чуда 1989 года.

Ещё в большей мере эта констатация относится к глобальному миру, где у международных организаций больше возможностей поддерживать людей, отстаивающих человеческое достоинство в экстремальных ситуациях. А если нет, то это поражение, это современный Содом – не суметь помешать преступлению против человечества.